

**«НАЦИСТЫ ЛИШИЛИ НАС
БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ЖИЗНЬ, — МОГИЛУ МАТЕРИ
Я НОШУ В СЕБЕ»**

Симон Визенталь родился 31 декабря 1908 года в маленьком галицийском городке Бучаче, тогда принадлежавшем Австро-Венгрии. В конце Первой мировой войны городок заполнили банды Петлюры. Симон тогда был еще слишком мал и, конечно, не мог понимать фанатизм и бесчеловечность антисемитизма, но мальчику в полной мере предоставили возможность ощутить, что это такое. Однажды маленький Симон брел по улице, неся горстку муки, которую соседка одолжила его матери. Вдруг какой-то казак, шедший мимо, замахнулся нагайкой и рассек ребенку бедро. Шрам от этой раны остался у Симона на всю жизнь, а тот день во многом определил его судьбу: с 1945 года все свои силы Симон Визенталь отдает активной борьбе с расизмом, с любыми проявлениями фашизма. По всему миру разыскивает он нацистских преступников, стараясь уберечь от забвения преступления фашистов и сохранить память об их жертвах.

В 1928 году Визенталь поступил на факультет архитектуры Пражского университета, который закончил в 1932 году. Позднее, уже во Львове, несмотря на то что высшие учебные учреждения разрешалось посещать ограниченному числу евреев, ему удалось стать дипло-

мированным инженером и получить работу в архитектурной мастерской. В 1936 году Визенталь женился на подруге детства, Циле. Они и сейчас вместе.

В 1939 году Советский Союз и Германия договорились о разделе Польши. Во Львов вошли советские войска. Визенталь, потеряв место в мастерской, был вынужден работать техником на фабрике. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств ему удалось избежать депортации в Сибирь.

В 1941 году, после нападения Германии на Советский Союз, семье Визенталь, как и другим евреям, было приказано перебраться во львовское гетто. Симон раздобыл для Цили фальшивые польские документы, и ее, как польку, отправили на принудительные работы в Германию. Возможно, это спасло ей жизнь. Для самого же Визенталья все годы войны прошли под знаком постоянной угрозы смерти. Он прошел не один лагерь — был и в Яновском лагере во Львове, и в Бухенвальде, и в Маутхаузене. 5 мая 1945 года он, выйдя из Маутхаузена и вновь обретя свободу, поставил перед собой две цели: во-первых, жить, несмотря на все ужасы, свидетелем которых он оказался за годы войны, а во-вторых — служить делу справедливого возмездия и увековечения памяти жертв фашизма. В 1946 году у Симона и Цили родилась дочь — Паулина. Девочка росла без бабушек и дедушек — все родственники Визенталей, без исключения, стали жертвами Холокоста.

Уже в 1946 году, живя в Линце, Визенталь приступил к организации Еврейского центра, где должны были храниться материалы для будущих процессов над нацистскими военными преступниками. В 1954 году центр пришлось закрыть — шла «холодная» война, и со стороны государств, бывших союзников, уже не было ни ин-

тереса, ни поддержки в деле расследования преступлений фашистов. Визенталь передал все собранные документы в Яд ва-Шем — израильский мемориальный центр и музей. Однако после процесса над Адольфом Эйхманом, арест которого стал возможен только благодаря поискам Визенталья и его коллег, Еврейский центр снова открылся, теперь уже в Вене. Столица Австрии была выбрана не случайно: вновь образованное в 1945 году австрийское государство считало себя — опираясь на московскую декларацию министров иностранных дел стран-союзников — жертвой нацизма и отрицало свое участие в преступлениях нацистов.

Не всегда у Симона Визенталья и его коллег все удавалось. Так, в 1963 году австрийский суд полностью оправдал Франца Мурера, занимавшего должность комиссара Вильнюсской области и ответственного за уничтожение десятков тысяч евреев. Но, несмотря на отдельные неудачи, Визенталь не переставал настойчиво напоминать людям то, что многие бы предпочли забыть. Многочисленные награды и основание Центра Холокоста имени Симона Визенталья стали знаками благодарности и признания важности и благородства его бескорыстной деятельности.

Мать Визенталья была замучена в Бельжецком лагере. «Нацисты лишили нас большего, чем жизнь, — могилу матери я ношу в себе», — говорит он. В памяти о своей матери и о миллионах других, загубленных фашистами, черпает Симон Визенталь силы для дальнейших поисков нацистских преступников, говоря людям всего мира — ничто не должно быть забыто...

Курт Шарп

ПОДСОЛНУХ

Что сказал мне Артур сегодня ночью? Я напряженно стараюсь вспомнить. Что-то очень важное. Если бы только не эта вечная усталость!

Я стоял на апельплаце*, где медленно собирались заключенные. Они только что получили «завтрак» — темную горькую бурду, которую охранники величественно именовали кофе. Чтобы не опоздать на поверку, беднякам приходилось заглатывать эту отраву уже на ходу.

Я не взял кофе, мне не хотелось протискиваться сквозь толпу. Плац перед кухней был любимым местом охоты для многочисленных садистов из рядов СС. Обычно они прятались за бараками, чтобы внезапно, как стервятники, наброситься оттуда на беззащитных лагерников. Каждый день там были раненые. Это входило в «программу». Безмолвные и подавленные, мы стояли беспорядочной толпой на плацу, ожидая приказа к по-

* Центральная площадь в немецком концлагере, где проводились ежедневные построения и пересчеты заключенных. Appell — общий сбор, поверка (нем.).

строению. Но в тот момент я не думал об опасностях, которые подстерегали нас почти постоянно; мои мысли все снова возвращались к тому разговору, который был у нас прошлой ночью.

Да, теперь я наконец вспомнил.

Было уже поздно. Мы лежали во тьме, невольно прислушиваясь к сдавленным стонам, тихому шепоту, а порой, когда кто-нибудь поворачивался с боку на бок на своих деревянных нарах, к жутковатому скрипу, словно здесь, вокруг нас, бродили призраки. Лица лежащих были неразличимы. Только по голосу можно было понять, кто говорит.

Накануне днем двое из нашего барака побывали в гетто. Шарфюрер* им разрешил. Минутный каприз? Возможно, в сочетании с небольшим подкупом? Я этого не знал. Вероятнее всего, каприз и только — чем мог лагерник подкупить шарфюрера?

Теперь они рассказывали.

Артур сидел на корточках, наклонив голову, чтобы не пропустить ни единого слова. Они пересказывали новости о жизни за стенами лагеря, о ходе войны. Я лежал рядом в состоянии полусна-полубодствования.

Людям в гетто было известно многое. До нас, лагерников, доходила лишь малая часть того, что

* Унтер-офицер в войсках СС.

они знали. Нам приходилось соединять и сопоставлять отдельные сведения из скудных сообщений тех, кому в течение дня довелось работать вне лагеря и кто краем уха мог услышать, что рассказывают друг другу поляки или украинцы — правду, слухи. Иногда первый встречный мог украдкой шепнуть нам на ходу какую-нибудь новость — из сострадания или в утешение.

Порой доходившие до нас новости были хорошими, но и тогда мы первым делом спрашивали себя: истина это или ложь во спасение? Зато плохим новостям мы верили сразу и без тени сомнения — к ним мы уже привыкли. Они обгоняли одна другую, и каждая следующая превосходила предыдущую своими ужасами. Сегодняшние вести были хуже вчерашних, но мы знали, что завтрашние будут еще кошмарнее.

Казалось, сама удушливая атмосфера в бараке настраивала наши мысли на худшее. Неделями мы спали, плотно притиснутые друг к другу, в тех же пропотевших одеждах, в которых работали днем. Некоторые были так измотаны, что давно уже не снимали на ночь обувь. Время от времени кто-то вскрикивал во сне, — должно быть, ему привиделось что-то страшное или его толкнул спавший рядом сосед. Лишь наполовину открытое оконце на крыше барака — прежде здесь была конюшня — пропускало слишком мало воздуха, чтобы хватило кислорода для ста пятидесяти человек, спавших на битком набитых многоэтажных нарах.

Наспех собранные и по воле случая оказавшиеся вместе, здесь лежали бок о бок представители самых разных слоев общества. Богатые и бедные, образованные и невежды, добрые и бессердечные, сохранившие мужество и отупевшие, безучастные ко всему. Одинаковая судьба сделала их похожими друг на друга. Тем не менее постепенно образовывались маленькие группы, более тесные сообщества людей, которые в иной обстановке, возможно, никогда бы не возникли. Завязывались дружеские отношения, люди менялись местами в бараке, передвигались, теснились, чтобы оказаться поближе друг к другу.

В группе, к которой принадлежал я, ближе всех других мне были двое: мой старый друг Артур и сравнительно недавно появившийся в лагере еврей по имени Йозек. Йозек был глубоко религиозным человеком. Его веру могли — самое большее — ранить обстоятельства, в которых мы жили, а также открытые и скрытые провокации со стороны окружающих, но никто и ничто не могло ее поколебать. Ему впору было позавидовать. У Йозека на всё находился ответ, в то время как мы, остальные, напрасно искали ответа, приходя из-за этого в отчаяние. Его невозмутимое спокойствие иной раз выводило нас из себя. Артур, чье восприятие жизни во многом определяла ирония, реагировал на слова Йозека особенно нервно, а иногда насмешливо и гневно.

Я в шутку называл Йозека «рабби». Он не был раввином, он был коммерсантом, но вера запол-

няла всю его жизнь. Он знал, что стоит выше нас из-за своей веры и что отсутствие такой опоры и такого богатства делает нас еще беднее, чем мы есть. Поэтому он предпринимал все новые попытки поделиться с нами частью своего богатства, чтобы придать нам силы.

Но разве знание того, что мы не первые преследуемые евреи, облегчало нам нашу участь? И нас не слишком утешало то, что Йозек, порывшись в своей неисчерпаемой сокровищнице анекдотов и легенд, доказывал нам — страдание сопровождает человека с рождения.

Когда Йозек говорил, он полностью забывал или игнорировал то, что его окружало. У нас складывалось впечатление, что в такие минуты он попросту не отдает себе отчета, где находится. Однажды из-за этого чуть не возник спор.

Это было вечером в субботу. По субботам мы работали только до обеда и потом лежали вымотанные на своих нарах. Кто-то рассказывал новости — разумеется, опять безрадостные. Йозек, казалось, даже не слушал. Он не задавал никаких вопросов, как это делали другие. Вдруг он поднялся, взгляд его прояснился. И он заговорил:

— Наши ученые рассказывают, что при сотворении человека присутствовали четыре ангела. То были ангелы милосердия, истины, мира и справедливости. Они долго спорили, должен ли Бог вообще создавать человека. Сильнее всех этому противился ангел истины. Его поведение разгне-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Мело, мело по всей земле, во все пределы...» Вот уже какой день не останавливается этот поток снега, и под его белыми кружевами притаились, замерли в ожидании неведомого дерева. Стоят, как невесты, и ждут призыва любви-весны. Я сижу за своей старенькой пишущей машинкой и вижу ту свечу, что горела на ЕГО столе и освещала черные дороги, по которым гнала революция ЕГО героя — доктора Живаго. Может, потому, что пишу эти строки в Переделкине, каким-то непостижимым образом переплелись в моем воображении те подсолнухи, которые в почетном карауле замерли на могилах немецких солдат в книге Симона Визенталя, и эта бесконечная метель, заметавшая следы нашей собственной кровавой истории.

Смутное время порождает смутные предчувствия и мистические совпадения. И дом Пастернака с его трагической судьбой не в Германии — в России, и могила его здесь рядом, и та, с желтым подсолнухом, «хорошего, доброго мальчика Карла», кажется, тоже где-то совсем близко, на поле, где покоятся старые большевики. Там, у Визенталя, на каждой могиле прямой, как солдат на параде, тянулся ввысь подсолнух, а здесь серые карлики — каменные доски, а под ними те, кто искренне верил, как «хороший мальчик Карл», и во имя веры

расстреливал, или допрашивал, или доносил... Чего только не делалось во имя этой веры. Ведь и красивый голубоглазый Карл был сначала, в детстве и в ранней юности, таким милым, таким добрым, таким заботливым, таким послушным и, наконец, таким ВЕРУЮЩИМ — сначала не в Гитлера, а в Господа БОГА. И все это было, пока он не поверил в другого «бога» — Адольфа, и эта вера привела его к тому страшному дню, когда он поднял ружье, чтобы выстрелить в маленького черноглазого мальчика — не просто стрелял, а добивал, потому что вместе с родителями мальчик летел, как птичка, из окна подожженного немцами дома и на лету был сражен пулей «хорошего, доброго Карла». И вот покаяние на смертном одре — перед еврейским юношей Симоном, который в эти предсмертные минуты олицетворял для Карла весь еврейский народ. И Симон, на глазах которого каждый день в лагере и за его стеной — в гетто умирали от голода, побоев и унижений, от пули, наконец, сотни, нет, тысячи (а мы знаем сегодня — миллионы) людей, не смог простить.

Спустя более чем полвека Симон Визенталь, который посвятил всю свою жизнь поиску нацистских преступников и, как сам говорил, расспрашивал многих из них и не слышал покаяния; если они о чем-то жалели и в чем-то раскаивались, то лишь в одном — что еще остались в живых свидетели их злодеяний, — Симон Визенталь спрашивает нас сегодня, должен ли был он, узник концлагеря, свидетель и жертва, простить того умирающего Карла, который волею судеб успел совершить только одно преступление, но что удержало бы его, останься он жив, от каждого последующего?!

В концентрационном лагере Маутхаузен в «блоке смерти», уже сам полуживой, Симон рассказывает по-

ляку Болеку — будущему католическому священнику, свою историю, которая терзала его на протяжении всего пути к смерти (только освобождение из лагеря спасло его, но сколько несчастных рядом с ним не дожили до этого дня!). Он не верил в Бога, но перед концом хотел знать (покаяние, по-видимому, необходимо каждому, в ком еще теплится вера в человечность и справедливость), правильно ли он поступил, что не простил умирающего Карла. И Боек сказал ему, что раскаяние уже заслуживает милость прощения. Они говорили долго, и каждый в чем-то усомнился. Мы не знаем, к чему пришел дальше польский священник, но сомнения, по-видимому, мучили Визенталя всю жизнь и привели к необходимости написать эту книгу, а нас к необходимости не отворачиваться от его вопросов.

В середине шестидесятых я впервые попала в Польшу и там, мне повезло, познакомилась с прекрасными людьми, сгруппировавшимися вокруг католического краковского журнала «Тегодник Повшехный». Сегодня, когда я читаю у Визенталя о тех поляках, которые, погибая от руки нацистов, продолжали думать, что во всем виноваты евреи, я вспоминаю тот вечер на даче у главного редактора, который осторожно, ненавязчиво говорил мне о судьбе поляков, чья трагическая история привела многих из них к тупому, слепому антисемитизму. И нет тут вины, а есть беда, и церковь должна выводить этих несчастных к свету, ибо в своей душевной темноте они не ведают, что творят. К нашему разговору молча прислушивался неизвестный мне человек, на лице которого была печать мудрости и сострадания — ко мне ли, еврейке, к полякам, которые заблудились во тьме кромешной, к Польше, которая дала пристанище лагерям смерти, и, кажется, в возду-

хе до сих пор пахнет гарью от газовых печей... До книги Визенталя мне оставалось тридцать пять лет. Но я тогда впервые задумалась о вине, ответственности и прощении. Человек в черном (а был он одет в черный, застегнутый наглухо сюртук) потом еще долго говорил со мной на польском, а я на русском, но мы почему-то прекрасно понимали друг друга. Вспоминаю, что наш разговор то и дело возвращался к войне, к еврейской судьбе и, конечно, к Польше, которая оказалась рядом с этой судьбой и повернулась к ней спиной, к Польше, которая оказалась жертвой и палачом одновременно.

Теперь (читаю у Визенталя) знаю, что Гитлер уже стоял на западной границе Польши, готовясь скушать эту страну, а польский парламент обсуждал проект закона о запрете деятельности еврейских резников, дабы отнять у верующих евреев кошерное мясо. Теперь знаю и о погроме, который учинили поляки вернувшимся после войны на родину евреям — совсем недалеко от Освенцима, но ничто не позволит забыть слова неизвестного мне тогда господина в черном о том, что нельзя судить всех оптом, ибо «не судите, да не судимы будете».

На следующее утро я впервые ехала в Освенцим с моим другом-католиком, депутатом Польского сейма. Когда я вошла в машину, то увидела, что на заднем сиденье горят сотни красных гвоздик. Грешница, я подумала, что все это мне от верного поклонника. Но почему по дороге в Освенцим? «Это от Войцеха Войтылы — нашего Краковского Кардинала — ты с ним вчера разговаривала. Он попросил, чтобы ты положила их к камню, который там лежит в память о евреях, замученных и убитых в Освенциме. А еще он передал тебе Библию и вот эту книгу «Восстание Варшавского гетто»... Пройдут годы, и

нынешний Папа Римский, Иоанн Павел II, мой удивительный собеседник, покается за вину католической церкви перед евреями. ЕГО Библию я храню и надеюсь передать ее внукам и правнукам.

В то лето или в тот месяц, сейчас уже не помню, концентрационный лагерь Освенцим (точнее, его музей) был закрыт на ремонт. И только усилиями моего спутника-депутата хранитель открыл нам барак, чья экспозиция была посвящена уничтожению евреев в Освенциме. После я узнала, что сам музей был закрыт, потому что уточнялась национальная принадлежность уничтоженных в лагере Смерти.

К власти пришел антисемит генерал Мочар, и по его приказу корректировались цифры погибших — «евреев не убивали — все возвратились, живы».

В каждом народе есть свои выродки, не будем считать, у кого больше. Но генерал, пересчитав убиенных, лишил десять тысяч права на память после смерти, отнял у нас правду о жертвах того безумия, которое называется нацизм. Что-то очень похожее на историю памятника, который возвышается ныне над оврагами Бабьего Яра. Сколькó времени потребовалось, чтобы встал этот памятник, сколько людей выдворили из страны за живую память о мертвых, сколько еще лет прошло, пока не восстановили подлинные цифры и не признали наконец, что именно здесь было за несколько дней расстреляно сто пятьдесят тысяч евреев. Но то в Киеве. А вот в Ростове-на-Дону, где в одночасье было расстреляно тридцать пять тысяч евреев в Змиевской балке, так похожей на Бабий Яр, нет ни слова на громадном монументе, воздвигнутом вообще в память неизвестно о ком. И никто туда не ездит, и никто не хочет, будто сговорились, помнить, чьи кости лежат